



ство, но ощущали себя родственниками в толстых стенах, покрытых мелкой сеткой, после того как в театр Вахтангова попала бомба.

В возрасте шестнадцати лет я вернулась в Ликину гостиную полноправной хозяйкой, и детство в районе проспекта Вернадского ощущаю не вполне московским. Моя Москва — это старые камни. Я равнодушна к изыскам современного дизайна и обливаюсь слезами над фрагментом старой одежды и мебели. Каждый восстановленный особняк ощущаю залеченной раной, а каждый авангардистский изыск — искусственным глазом на лице города. Переделка Арбата в пешеходно-криминогенную зону была для меня личной драмой.

Я вернулась в Ликину гостиную, переполняемая азартом деятельности. Оставшиеся от аборигенов генеральша Афонина, издерганный Олег Масанов и занявшая остальные пространства добротная лимита не были готовы к моему появлению.

Я перетряхнула шкафы и этажерки, упорядочила фамильный архив и открыла двери для всех, не понимаемых родителями. В компанию вошли хиппи, студенты, малолетние диссиденты, темные и колоритные личности. Это называлось салон Маши с Арбата, с чего я постепенно превратилась в Машу Арбатову.

Соседи немедленно организовались в педагогическо-карательную дружину. Мы нарисовали на лестнице условный знак, стук по которому был слышен в комнате. Гости пробирались тише индейцев на охоте, но соседи, овладев искусством шпионажа, сигнализировали в милицию. Очередной мент из пятого отделения врывается проверять документы. Вид девиц в исписанных английскими словами джинсах и длинных юбках, шитых из занавесок, курящих с дешевыми галантерейными, но все же мундштуками, приводил его в не меньший трепет, чем вид длинноволосых бородатых парней.

Паспорта и студенческие были в порядке, и тогда взор падал на стену, на которой две художницы грифельными изобразили в человеческий рост голую Магдалину и стоящего перед ней на коленях Христа.

— Что это такое? — орал мент.

— Атеистическая пропаганда! — объясняли мы.

— Это порнография! — орал мент.

— А это? — тыкали мы пальцем в иллюстрацию голый ренессансной бабы.

— И это порнография! — орал мент.

— Из фондов музея Пушкина, — поясняли мы. — Вы оскорбляете эстетические чувства советского народа! Мы так и сообщим вашему начальству!

— А это что такое? Снять немедленно! — утыкался мент в плакат с портретами членов политбюро, повешенный с бочка голый Магдалины вместо мулеты.

— Что вы сказали? — изумлялись мы дружно. — Вы предлагаете снять членов политбюро? Так вы

антисоветчик? Как же вас могли взять на работу в правоохранительные органы?

Если гость не терялся и после этого, от него отбивались Декларацией прав человека, обещаниями жаловаться во "вражий голос на него лично"; если выдерживал и это, включались родительские связи. Связи имелись, молодежь была в основном золотая и в основном негибкая. Мы ходили по горящим углям, и уж если попадались тем же самым милиционерам при облавах на улице Горького, получали на всю катушку.

Облавы были плановые, фургончики подъезжали к неформально одетой толпе, тусующейся в переходе метро "Проспект Маркса", возле Долгорукого, у кафе "Московское" и "Космос", всех подряд кидали в машины и везли в ментовку.

— Мы сделаем из вас людей, хиппи недорезанные! Вы нам спасибо скажете! — хрипели менты, наминая нам бока. И на самом деле сделали, все, кто прошел за нарушение формы одежды побои на каменных полах центральных ментовок, стали приличными людьми, не боящимися иметь собственные взгляды.

Улица Горького называлась "Стрит", памятник Долгорукому — "Квадрат". Кто-то сочинил сакральное: "Со Стрита на Квадрат, и с Квадрата на Стрит. Вам это что-нибудь говорит?"

— Ты хочешь сказать, что тебя били только за то, что на тебе были джинсы? — удивляются мои девятнадцатилетние сыновья. — Ты ничего не преувеличиваешь?

Ия чуть не плачу от радости: всего за пятнадцать лет Москва стала городом, в котором из нормы это стало историческим фактом.

Иногда компания обряжалась в старые тряпки из комода, гримировалась под булгаковских персонажей и бродила по Арбату, приставая к прохожим. Идут такие, с разрисованными под ведем и вурдалаков личиками, в старомодных пальто и шляпах не по росту и спрашивают:

— Будьте так любезны, подскажите, пожалуйста, который час?

Человек столбенеет.

— Ради Бога извините, позвольте задать вам еще один вопрос? Существует ли загробная жизнь?

Или:

— Сколько человек вы убили за свою жизнь прямо или косвенно?

Или:

— Как вы полагаете, Пушкин хотел, чтобы его убил Дантес?

Арбатский салон был нашими университетами. Там при свече зачитывались новые стихи и романы, демонстрировались новые картины, пелись блатные песни, раздавались антисоветские издания, ловилось запрещенное радио. Прислонясь к стене, нас сутками подслушивала пожилая татарка Раиса, мывшая посуду в кафе "Буратино" и доносившая. На кухне скупой соз-

датель Чебурашки подписывал коробок своих спичек фломастером. В своей комнате генеральша Афонина тяжелее, чем старость и одиночество, переживала факт моего неуступления в комсомол. Вокруг был злобный кастрирующий мир, в союзники мы могли взять только старые дома, безлюдные бульвары и молчаливые памятники.

Однажды, когда я училась на философском и печатала стихи на творческий конкурс в Литературный институт, зашел Гриша Остер, известный детский писатель, проживавший тогда в сане многообещающего взрослого поэта.

— Брось это дело, — сказал он. — Без партийных стихов никогда не пройдешь. Напиши пьесу, поступи в семинар Розова и Вишневской, проучишься пять лет, получишь диплом. Им на студентов совершенно наплевать: жив, умер, они и не заметят.

— Я не умею писать пьесы, а последний срок на творческий конкурс через три дня.

— А чего там уметь? — удивился Остер. — Сними Шекспира с полки, да посмотри, как он это делает. Справа — кто говорит, слева — что говорит. Это был самый полезный совет создателя "Вредных советов". То ли Чехов в этой комнате слишком страстно объяснялся Лике в любви, то ли Остер — гениальный провидец, но за ночь я написала пьесу, с которой поступила в Литературный институт. И, в общем, до сих пор лучшее, что я умею делать в этой жизни, это писать пьесы.

Яуехала с Арбата в спально-лесной район, чтобы вырастить здоровых детей. Арбат менялся без меня, без меня прогнали троллейбус, бравурно раскрасили дома, созданные для серо-голубой акварельной гаммы, наставили китчевых фонарей, пустили матрешечников. Я приветствую любую праздничность тусовки, но еще Кропоткин утверждал, что свобода не демократична, а аристократична. Наш Арбат был аристократичен, мы были заложниками хорошего тона.

Я написала пьесу об арбатской жизни, режиссер возжелал в роли героини, то есть молодой меня, не актрису, а натуральную хипповку. Но все они оказывались панически глупы или глубоко пронаркманены. Как-то я брела по Арбату и возле стены Цоя увидела девочку в джинсах, сидящую на асфальте и распеваящую под гитару песенку о свободе. Это была ровно я двадцать лет тому назад. Я встала слушать и обнаружила, что у меня хлещут слезы.

Я изложила ей предложение режиссера. Она посмотрела на меня, как школьница на чучело мамонта в биологическом музее, и сказала: — Играть в вашей пьесе? Мне некогда. Я учусь на сценарном, пишу стихи и романы.

Именно так я бы сама ответила в ее возрасте. Я ушла успокоенная. Я поняла, что с Арбатом все будет в порядке.